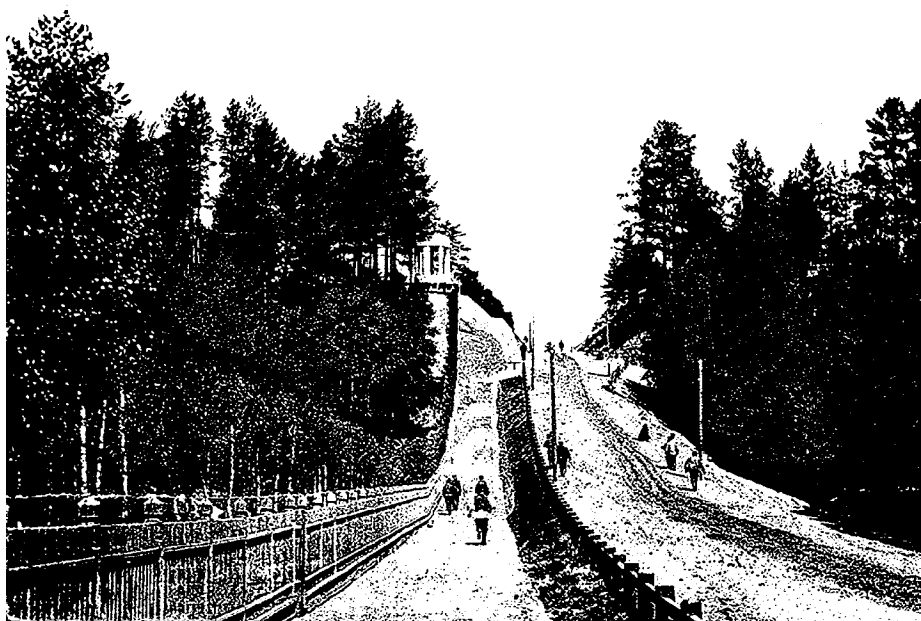


ГАЛИНА ИЛЮХИНА

Колокольная горка

СТИХОТВОРЕНИЯ



УДК 821.161.1-1
ББК 84(2РОС=РУС)6-5
И49

*Издание выпущено при финансовой поддержке
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации*

Илюхина, Галина

И49 Колокольная горка. Стихотворения /Галина Илюхина. —
СПб. : Союз писателей Санкт-Петербурга., 2016. — 76 с.

В новой книге петербургского поэта Галины Илюхиной отчетливо слышны две лирические ноты. Плеск Финского залива, шум сосен в Комарово, голоса литераторов, «звон бубенчика луны» — эта негромкая нота звучит в первой части под названием «Келломяки» (в переводе с финского — «Колокольная горка»). Другая нота слышится в разделе «Герой сизифова труда», где тональность стиха меняется: в него входит современная реальность с ее шумом и яростью, с ее трагическими нелепостями и абсурдом. И все это объединяется личностью поэта, которому внятны и вдумчивая тишина, и грозный гул современности, и вместе с тем — свойственная ирония. Подлинная поэзия не оставляет без внимания ни одного явления жизни, одухотворяя ее, превращая в гармонию.

С «Колокольной горки» открывается замечательный обзор, отсюда виден весь мир. С этим миром, преображенным душой, воображением и талантом поэта, теперь может ознакомиться читатель этой книги.

*Редактор Валентина Кизило
Художник Алексей Воропанов*

Издание Союза писателей Санкт-Петербурга

© Илюхина Г., 2016
ISBN 978-5-4380-0163-8 © Воропанов А. (оформление), 2016



Илюхина Галина Александровна — поэт, общественный деятель. Родилась в Ленинграде. По образованию юрист. Автор трех книг стихов — «Пешеходная зона» (СПб, 2006), «Ближний свет» (СПб, 2010), «Птичий февраль» (СПб, 2013).

Лауреат литературных премий «Молодой Петербург» (2009), журнала «Дети Ра» (2012) и Международной Волошинской премии (2013).

Одна из основателей и организаторов ежегодного международного литературного фестиваля «Петербургские мосты» и литературного фестиваля Союза российских писателей «Паровозъ», составитель поэтической антологии «Аничков мост» (СПб., 2010), автор и куратор множества литературных проектов.

Стихи публиковались в журналах «Юность», «Интерпоэзия», «Дружба народов», «Крещатик», «ШО», «Новый берег» и других российских и зарубежных изданиях.

Стихи Г. Илюхиной включены в несколько поэтических антологий, переведены на английский, польский и украинский языки.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза российских писателей и Международного ПЕН-клуба.

Живет в Санкт-Петербурге.





ДАЧА ТОМАРСА

Сосны смолистые, розовый дым, Колокольная горка.
Шелесты, запахи близкой беды, но не больно, не горько.
Белые зонтики, свет кружевной, самовар на веранде...
Если всё это ещё не со мной, то с кем, бога ради?
Водит рассеянность бледными пальцами — Томарс играет.
Кружится музыка над постояльцами дачного рая.
Дети хохочут; качели плетёные, небо горящее.
Всё, что на свете чужое и тёмное, — ненастоящее.
Счастье — казалось бы, неугасимое, — тлеет и тает.
Мёртвая бабочка, ветром носима, летает, летает.



ЛАНДЫШИ

памяти мамы

Окна в колодец, подвальные комары.
На ночь я ставлю ландыши у лица:
память, на них поймавшись, как на живца,
в сон мой долъёт фиалок и чабреца...
Так я хитрю, возвращая свои миры.

Дача приснится. Ходики надо мной
тикают. Пляшет бабочка у стекла.
Окна раскрыты — черёмуха отцвела,
время сирени. Июньская ночь светла,
и никакого прошлого за спиной.

Детскую память, Боже, не сокруши,
что ни случилось бы, что ни произошло б,
мамину руку мне положи на лоб:
«спи, моя птичка, да будет тебе тепло...»
Лан-дыши-лан-дыши-лан-дыши-лан-дыши...

МОИ ЯНТАРИ

...Бренчит умывальник, прибитый к сосне.
И мятный зубной порошок на десне,
и хвоя, прилипшая к мылу, —
всё здесь, ничего не забыла.
Всё помню — как пахнет тугая смола,
что я колупала в щербинках ствола,
увязших букашек и мошек,
и пятна на сгибах ладошек,
и мшистый забор, и дырявый лопух,
и в солнечной пыли бредущий пастух,
и шумно сопящее стадо —
как из-за штaketника сада
смотрела на них, замирая слегка,
поскольку ужасно боялась быка,
и если он шёл слишком близко,
я к дому с пронзительным визгом
неслась, спотыкаясь о корни, и вот —
в спасительный бабушкин ткнувшись живот,
опять становилась всеильной.
И вечер, душистый и синий,
на дачу слетал — на террасу и сад,
и где-то, людей увозя в Ленинград,
вдали электрички свистели...
И, веса не чувствуя в теле,
я сладко плыла, как туман по земле.
Как тот муравей, застывая в смоле,
я всё забирала с собою:
сосну, умывальник, левкой,
коленки в царапинах, тёплую реч-
ку, шорохи, запахи, травы до плеч,
огромные яблони, сливы...
И близких — живых и счастливых.

* * *

Мы с бабушкой на даче ходили в магазин.
Пока считали сдачу и лили керосин
в железную баклажку с воронкой жестяной,
я выходила важно побыть чуть-чуть одной:

пройтись с лицом солидным (на пятом-то году),
чтоб никому не видно, что бабушку я жду.
Вокруг торчит, как спички, натятанный лесок,
дорога к электричке сквозит наискосок —

там солнечные пятна и корни под песком,
по ней идти приятно без тапок, босиком,
и хочется так долго идти, куда нельзя,
сосновую иголку задумчиво грызя.

Шагаю и шагаю, и до сих пор иду,
и песенки слагаю с соломинкой во рту.
А жизнь кругла, как мячик, резиновый такой:
вон, бабушка маячит и машет мне рукой.



ДАЧНЫЙ СОСЕД

И опять замаячило лето.
Дует в дудочку первый нарцисс,
над тарелкой с остатком омлета
совершает оса экзерсис.

Он сидит в полосатом шезлонге —
разомлевший, солидный, седой, —
смотрит, как детвора у колонки
расшалилась, плеская водой.

Как девчонки хохочут игриво!
а вода так и блещет в горстях...
Он почешет вспотевший загривок,
грузно встанет, коленом хрустя,

сдвинет мятую шляпу из фетра
на бульдожий нахмуренный лоб,
рявкнет — так, чтоб их сдуло как ветром! —
и уйдёт в свой осиновый гроб:

в дом, где нет нестерпимого лета,
затхлой сыростью сумрак пропах,
в дом, где мыши (а может, скелеты)
шебуршатся в скрипучих шкапах.

Оглядится в жилище убогом,
бестолково побродит, вздохнёт.
И у тусклого зеркала боком
постоит, подбирая живот.

ЩЕЛЬ В ЗАБОРЕ

Серый забор, местами поросший мхом.
Скрипнув негромко, чуть отошла доска.
Там, за кустами сирени, белеет дом.
Кто-то стоит под деревом. Тень резка —

лишь силуэт и солнечный ореол.
Кто-то ещё, невидим, шуршит в кустах.
Ближе... Смотрю, отступая за тонкий ствол.
Не оторваться. Сладкий щекотный страх.

А за спиной — знакомый уютный сад,
запах оладий в доме, где я живу.
Кот на террасе, ласков и полосат.
Яблоки глухо тукаются в траву.

Я оборачиваюсь — нет ничего. Вообще.
Клубы тумана, серые пустыри.
Густо смеркается. Только в заборе щель
светится мягко, словно бы изнутри.

Медленно падает, смяв лопухи, забор.
Дом узнаю, бегонию на окне...
Пересекая в солнечных пятнах двор,
мама с корзиной яблок идет ко мне.



ЛИВЕНЬ

Вязаная блуза, брошка-стрекоза —
Мама на террасе разливает чай.
В небе взбиты сливки — близится гроза,
Лепестки в варенье сыплет алыча.

Самовар лоснится блеском медных скул.
Ложечка в стакане, звякает стекло.
Мне кладут подушку на плетёный стул,
Я тянусь и вижу всех, кто за столом.

Бабушка, как птица, — на плечах платок.
Ветер, налетая, треплет бахрому.
Мама смотрит в небо, не допив глоток.
Облака густеют, нагнетая тьму.

Толкотня — поспешно снедь уносят в дом,
Хлопает крылами скатерть на столе.
Я несу тарелку с синим васильком...
Всё смывая, ливень катит по земле.



БОЛОТНЫЙ ОГОНЬ

Е. М.

Косматый хозяин дремучих болот
меня провожал по пружинистым гатям:
в свой сон заманил и учил управлять им —
он был огоньков полуночный пилот.

И там, в поволоке пронырливой тьмы,
где тени растений шептались глумливо,
мне тайна раскрылась, что все мы — не-мы,
мы зыбкая взвесь над гниющим заливом,
звенящие мушки мышиных ночей,
мерцанье сырых светляков под корнями...
И я растворилась, и стала ничьей,
а всё постепенно насытилось нами:
корявые сосны, расколотый пенёк —
прибежище тёмной пронзительной птицы, —
бормочущих травок хмельная кипень,
и след паутины, осевшей на лица...

Но, цепко схватив узловатой рукой
меня за плечо, он шепнул: «это морокк...»
И, чвакая в кочки тяжёлой клюкой,
зверьё разгоняя из логов и норок,
побрёл, углубляясь в неведомый лес.
В проёме древес, точно в арочной нише,
шагая, он делался ниже и ниже,
и виден был долго, пока не исчез.

НЕПУТЁВЫЙ

Сквозь ползучие туманы по лугам
человек идёт и тоненько свистит.
Влажно шепчутся неясные кусты,
травы вьются по босым его ногам.
Улыбается чему-то своему —
запрокинута дурная голова.
А на лоб слетает ранняя листва,
да цепляются колючки за суму.

И не ищет он ни ямы, ни тропы,
и не чувствует, что рубаха солона.
Костяная окаянная луна
отражается в глазах его слепых.

Ничего в его раскинутых руках.
Удаляясь, он становится высок.
И луна ему царапает висок —
он идёт уже по плечи в облаках.

ВЕЧЕРНЕЕ ТЕПЛО

Висит перед закатом не туман и не дым,
блаженная пыльца плывёт над сонным прудом.
Ты наблюдаешь, стоя возле самой воды,
как вспыхивает прядка на виске золотом,
когда она полощет и качает бельё —
размеренно и плавно, словно танец любви.
Вечерний луч облизывает плечи её,
и ластится подол, тугие ноги обвив.
Щекочет небо медленное слово «люблю»,
и солнце тяжелеет, и алеет вода.
Всё это остаётся навсегда, навсегда —
вечернее тепло, благословенный июль.



НЕСОХРАНЁННЫЙ ФАЙЛ

Джинсы, «БТ», в «Жигулях» ветровик открытый,
«АББА» в динамиках, и в лобовом — закат.
Вот она, вот — вожденная долгие вите!
Для вожденвших её тридцать лет назад.

Счастье! Залива язык подступает слева —
лужа Маркизова, мелко, да широко.
Кто мы друг другу? Неважно. Адам и Ева —
терпкое яблоко, тёплое молоко.

Где он, тот мальчик? Яблочный мой, молочный,
мой безымянный — имя не вспомню, нет.
Сгинул, по слухам, где-то в горячей точке:
дал по газам — и умчался в слепящий свет.

А впереди — развороченных трасс каверны,
рыжее небо, уже не закат — пожар...
Останови же машину, мой мальчик верный,
пусть догорает без нас раскалённый шар!

БЕРЕГ

Дом на сваях высоких. В осоке шуршит песок,
словно сиплый колдун остерегает: тсс...
Низкий ветер змеится, с моря наискосок
дюны ползут на мыс.

Хмарью небо набухло, грудью легло к земле
и придавило, согнуло кривой сосняк.
В тучах юная ведьма ныряет на помеле,
пальцы её в перстнях.

Вот оно, место шабаша. Ну же, лети сюда,
в этот спичечный домик, просоленный до костей,
где дольше века, измучена и седа,
женщина ждёт вестей.

Вспоминай, как всё это было, ну же, зажги очаг,
завари покруче зелье горюн-травой —
остро память заплещет в цыганских его лучах
ящеркой огневой.

Ахнет море, отступит, пенной слюной шипя,
в илистой яме вскружит водоворот,
и на побывку отпустит ко мне тебя,
оплаченное вернёт.

ЛЕТО

Блещет луковка часовни.
Лебеда, осот.
Отпустили бы часов мне
тысяч восемьсот!

Гул пчелиный, дух полынный,
речка — что стекло.
А ведь больше половины
мимо утекло.

Что же мне всё мало, мало,
жадине такой?
Но сегодня время встало
сонною рекой.

Человечек — божья рыбка,
мелочь, ерунда.
Пусть меня качает зыбко
тёплая вода,

где сверкает купол древний
поплавком в реке,
и рыбарь на солнце дремлет
с удочкой в руке.

* * *

Здесь то горка, то озеро —
эти «ярве» и «мяки»,
и оранжево-розовый
свет, неяркий и мягкий,
за стволами сосновыми
от шоссе до залива
нас морочит, и снова мы
бродим неторопливо,
словно в храме с колоннами,
что смолой мироточат,
и вполне просветлёнными
возвращаемся к ночи
на участок старателей
комаровского лета —
наше гетто писателей,
токовище поэтов.



ГЕТТО ПИСАТЕЛЕЙ

Здесь во всём Комарове самый гнилой забор,
и застойное семя цветёт лебедой-травой.
Но по-прежнему твёрдо могучий сосновый бор
упирается в небо седеющей головой.

Подорожник толпится на стыках бетонных плит,
встав на цыпочки, ирис оглядывает бурьян.
Здесь тверёзый завидует тем, кто напился пьян,
чтоб не чують, как слева сжимается и болит.

Чтобы навзничь упасть, расшибаясь о корни в кровь,
возле вишни, что сохнет, мозолиста и нага,
и бессмысленным взором уткнуться в небесный кров —
жемчуга и алмазы, алмазы и жемчуга.



КОМАРОВСКИЙ ДЕКАДАНС

Белобрысей ли прочих, пейзаей ли —
все уравнены в птичьих правах.
Комаровский заказник писателей
ностальгичным застоєм пропах:
антикварные шляпы, беретики,
нафталиновых шалей крыла,
сплетни в духе писательской этики —
с кем NN в прошлом веке спала,
кем земля тут распродана-куплена,
сколько даст на поминки литфонд...
Шелестя по беседке облупленной,
грозовой надвигается фронт.
Замелькают фигурки нелепые,
укрываясь в замшелом дому,
где давно нет ни зрелищ, ни хлеба им,
кроме жидкой подкормки уму.
Нет на свете печальнее повести,
чем заглохшие втуне сады.
На скамейке подгузником совести
мокнет номер погасшей «Звезды».

КОЛОКОЛЬНАЯ ГОРКА

Виталию Дмитриеву

В Доме творчества спят шулера
под нечестно захваченным кровом.
В чёрном небе, как росчерк пера,
звездопад над ночным Комаровом:
словно жалобы в божьи суды,
доказательства — кто тут не лишний.
Измельчали Эдема плоды
до трагической чеховской вишни.
Но неплохо идут под коньяк
эти карлики яблочной ветки —
по посёлку гуляя, поэтки
их набрали за так.
Да не свяжет оскомой уста
райский дар — золотая китайка.
Колокольная горка крута,
но попробуй, таких укатай-ка:
мы сидим на наследном крыльце —
принцы-нищие литерной крови,
и мерцает в алмазной пылице
наша ночь в Комарове.



В ГАМАКЕ

Разноцветный фонарик таится в траве,
розы шепчут, склонясь голова к голове,
и, глаза прикрывая, лягушки
голосят у замшелой кадушки.

Я лежу в гамаке, и я занят весьма:
у меня в кулаке золотая тесьма
протянулась в июльскую темень,
где луны серебристое темя

всё качается, точно китайский божок...
Чёрт, опять сигаретой рубашку прожёт —
каждый раз нестандартному делу
строит козни беспечное тело!

По тесьме я пускаю навверх светляков
и слежу, чтобы кто-нибудь не был таков,
чтобы каждый добрался до места
и служил светлячковую мессу.

Вот сейчас в уголке, где темнеет труба,
вспыхнет звёздочка, — видишь? — нежна и слаба,
и другая, правее и выше,
разгорается искоркой рыжей.

Я лежу в гамаке — незаметный, худой,
зажигаю неспешно звезду за звездой.
А кому это нужно — не в курсе.
Так, свои проверяю ресурсы.

* * *

Расслабленная счастьем бытия
(гамак, бассейн, черника, сигарета),
я чувствую, что я уже не я,
а сердцевина царственного лета.

Опустишь ноги в ласковость пруда —
в них тычутся рассеянные рыбы.
«Живу, как бог», — сказала бы, когда
чуть-чуть не докучали комары бы.

Такая лень, что много даже мне.
И ночь светла, и сон, как свет, не меркнет.
Но как-то раз проснёшься в тишине
и вскочишь, точно чёрт из табакерки:

а вдруг война? Пылают города,
и дым клубится вдоль полей несжатых?
И полчаса до Страшного Суда,
а я в пижаме в жёлтых медвежатах?

И делать что, когда за мною — чу! —
слетит сюда заблудших душ погонщик?
Я ж понесу какую-нибудь чушь,
к примеру: можно взять с собою пончик?

Засучусь: ой, мне бы в туалет,
и позвонить, пожалуйста, я мигом!
А он сурово мне ответит: НЕТ.
И проведёт крылом по пыльным книгам...

Друзья! Простите мне мой тайный грех.
Вы книги мне свои дарили все.
Я до конца прочла из них из всех
лишь Носова, Ватутину и Сулю.

Какой кошмар! Вот так уйдёшь в пике
и не познаешь истинного слова.
Казнюсь, казнюсь. И завтра в гамаке
я Плахова прочту и Топорова.

2013

КОМАРОВСКОЕ

Дане Орлову

Справа — балерина, слева — архитектор,
«ху...» прочтёшь и сразу понимаешь, кто там,
ибо здесь поныне селят только тех, кто
Родину прославил творческим полётом.

Всё солидно, чисто, тишина и благодать.
Тянет и писать, и рисовать, и даже...
Хочешь тут участок? Выкуси-ка, накость:
не добрал, касатик, творческого стажа.

Косишь под богему, в общем-то, неплохо:
волосы по плечи, флисовая блуза.
Только эти снобы сразу чуют лоха:
этот человечек не в рядах Союза!

И пойдёшь, сутулясь, весь как знак вопроса,
по пустой аллее, кланаясь и пятясь.
Гении, понятно, не покажут носа —
им с тобой якшаться не позволит статус.

Лишь в ночи, пожалуй, возрастают шансы —
подкрадись поближе и прильни к ограде.
Видишь даму в шали в стиле декаданса?
Рядом с нею иже, тоже при параде:

белые одежды, профили из бронзы,
звякают гитары, лиры и награды.
Вышли на тусовку творческие бонзы —
навестить соседей и для променада:

Как там друг Гитович? Что там брат Рытхэу?
Сильно ль беспокоит клык его моржовый?
Да и новосёлы — там, на ветерке у
местной автотрассы спите ль хорошо вы?..

Тут куда ни плюнешь — попадаешь в мэтра.
И мечтаешь страстно в трансе ирреальном:
только дайте волю — я себе два метра
выгрызу зубами на Мемориальном!

ПРИГЛАШЕНИЕ К ЭПИТАФИИ

Стоит ли близких тревожить похоронами?
Чтобы ничья не болела бы голова,
скинемся, братцы, и выкупим скромный камень
вместе с участком (стандартные два на два).
Братья-поэты, представьте и оцените
утилитарные похороны-эрзац:
Прах высыпаем в ямку, а на граните
вместо фамилии — строчка, катрен, абзац.
То-то достанет радости разбираться
бедным потомкам, читая весь этот сюр, —
многоголосье на нашей могиле братской
будет покруче и мантр, и псалмов, и сур.
Лет через тысячу будущий Нострадамус
памятник этот возьмёт за одну из вех:
столько нас тут, безвременных, настрадалось —
камню расти и расти, устремляясь вверх.

СЕНТЯБРЬСКОЕ ДАЧНОЕ

Морозящая тишь, предосенняя грусть.
Всех визгливых детей наконец увезли.
Изумлённо торчит свежавылезший груздь,
словно маленький пуп комаровской земли.

Здравствуй, тёзка. Да минут тебя кузова.
И не хрустни, смотри, под случайной ногой.
Мне покуда везло — слава богу, жива.
Что ж, непросто даётся нам опыт благой.

Ах, как пусто! И век не видать никого б.
Лишь поджарые сосны да бледный залив.
И ликует нажористый социофоб,
экстравертную тушку мою заселив.

НА ЩУЧЬЕМ ОЗЕРЕ

Люби, люби, пока сентябрь,
и сосен розовые стрелы,
воткнувшись в берег загорелый,
трепещут, всё ещё летя.

Брелок на память — поплавок
неутопляемой любви,
что держится на честном слове,
и рыбины блестящий бок

всплеснёт, изогнутый упруго,
и вновь идёт на глубину.
А рыбаки, сглотнув слюну,
глядят азартно друг на друга.



ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Всё. Бабье лето, как говорится, накрылось тазом.
Слезливый дождик, промозглый сумрак — темнеет рано.
Залечь в подполье, на дверь — записку: «ушла на базу»,
и пусть мне станут (хоть на неделю!) по барабану

дела-делишки — звонки, клиенты, счета, налоги...
Сжечь телефоны к чертям собачьим, чтоб не мешали.
Однако осень – пора подумать уже о Боге,
смотреть на угли, у печки сидя в уютной шали,

чтоб дождик, листья, чтоб у крылечка — пенёк в бруснике,
чтоб ночью слышно, как мокрый леший тихонько плачет:
в ладошки дышит, а в дом не может, поскольку дикий,
и грустно смотрит на свет в окошке замшелой дачи.

А утром выйти — и задохнуться осенним духом:
сырым туманом, дымком далёким, листвой, грибами...
Хлоп! — в таз с повидлом (который медный) упала муха,
лежит на спинке и безнадёжно сучит ногами.

* * *

Налился тоскою прозаик,
поэт безнадегой набряк.
На мир тяжело наползает
огромный слизняк ноября.
Когда же грохочут по крыше
дожди барабанных музык,
писатели оперу пишут,
кусая свой грешный язык.
И плещется мрак студенистый,
утробой жадной урча,
угрюмой гурьбой гармонисты
идут убивать скрипача,
вторгается туша «Авроры»
в рабочую зону «Парнас»...
Конечно, всё это нескоро,
и, ясно, совсем не про нас.
А нынче — последние листья
кружат среди творческих дач,
свисают рябины мониста,
и пишет донос на флейтиста
пока ещё нужный скрипач.



ГЛАДИОЛУС

(цикл)

1.

Не выходи на свежий голос
дождя, что с ночи моросит, —
тебя укусит гладиолус
и смертной грустью заразит.
Вот так и стой, пока под веки
течёт вельветовая тьма.
И ничего — ни зги, ни вехи,
лишь одиночество ума.
Лишь бормотанье, вздохи, всхлипы —
сырого сада колдовство.
Твой лоб невидимые липы
облепят мокрую листвою.
И ты, разинув третье око,
заглянешь в собственную тьму:
там тоже дождь, и одиноко
фонарик, брошенный в осоку,
мерцает никому.

2.

Под первый снег вскрывается граница,
и через сердце тянется, узка,
бесшумная, глухая вереница —
твои потусторонние войска.

Вот так, гуськом, они текут поныне —
с незрячими очками на носу,
и осторожно головы больные
над бледной гололедицей несут.

И к ним уже не страшно впасть в немилость,
тут каждый силуэт тебе знаком,
и та, и та, что вдруг остановилась,
ладонь ко лбу приставив козырьком,

и смотрит в сад, где ты — в квадрате света,
и тьма вокруг бормочет и поёт,
и тёплый дождь, и долго будет лето,
и гладиолус разевает рот.

* * *

Придерживая шарфик на ключицах,
бреду, сминая листьев чесучу.
Я больше не хочу про что случится.
Зачем я знаю больше, чем хочу?

Нет белых карт в растрёпанной колоде.
Ненужного убейте скрипача.
Танцуют куклы грустного Коллоди,
игрушечно по сцене топоча.

Мне тоже было нужно всё и разом.
Просила — распишись и получи.
Закат, прищурясь красноватым глазом,
нацеливает узкие лучи.

* * *

Бараньи рёбра фонарей над скоростным шоссе,
и мокрых туч овечья шерсть кровавится закатом.
Дымятся потные бока, и все бегут, как все,
и очумелые стада теряются за КАДом.

А я стою, смотрю наверх, где зреет первый снег,
и самолётика звезда блестит во мгле полынной,
и красота, и чистота, и место есть для всех,
и пастушок трубит в рожок над головой повинной.



* * *

Сад кажется пустым и ветхим,
заборы шерятся зубами,
и яблоки вцепились в ветки,
как птицы с красными зобами.
Ступени листьями заносит,
и одинокий, как Зосима,
мой дом цепляется за осень,
предчувствуя скупую зиму.
Мышонок тащит крошки в норку,
поленья щёлкают в камине,
и по утрам арбузной коркой
так терпко пахнет первый иней,
так ярко солнце напоследок
скользит по ледяному пруду,
что никуда я не уеду.
Я есть и буду.

* * *

Куда бы нынче ни брели вы
в осенней хмари Комарова —
здесь всё кончается заливом,
где пахнут тиной валуны,

где с колокольчиком тоскливым
ходила по цепи корова,
священна и неприхотлива,
вдоль мелкой пенистой волны.

Ни Канта, ни императива.
Её скелет известняковый
всё лижут языки залива
под звон бубенчика луны.

А ветер носит сиротливо
никем не слышимое слово...
Любите нас, пока мы живы,
не лживы и не холодны.

ВИЛЛА РЕНО

На замшелых руинах утраченной дачи
зеленеют и тлеют огни светлячков.
То ли птица ночная лопочет и плачет,
то ли стонут скрипичные вздохи смычков.

Комаровского мёрзкого вязкие сети
притащили печальных своих мертвецов —
на каскадных прудах утонувшие дети
вдоль по лунной дорожке гоняют серсо.

То ли детская память дрожит на разломе
темнокровных времён и желаний простых,
то ли тяжесть сакральная древней Суоми
раздвигает во тьме тектонический стык.

Но покуда здесь дышится хвойно и вольно,
и обманчиво мелок притихший залив,
пусть восходит по горке своей колокольной
каменистой тропой муравьиный сизиф.



* * *

Сиреневый туман, кругом трава по пояс.
Эх, наша степь да степь, колючки да бурьян.
В заброшенном депо качнулся бронепоезд,
и музыкант рванул заждавшийся баян.

Над родиною дым, и гарь до горизонта.
Над тамбуром горит багровая звезда.
Так пой же, инвалид бессмысленного фронта,
безвременный герой сизифова труда.

О, как ты запоешь, моя страна родная,
под заржавелый лязг запасного пути!
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает.
Ещё один звонок — и паровоз летит...



ДЕЖАВЮ

На влажный след от брюшка жабьего
упала талая звезда,
и горний мир (верней, масштаб его
такой) не годен никуда —
покуда у туманной заводи
воюешь с вялым комаром,
опять кучкуются на западе,
таятся, типа, за бугром...
И всё, что было незнакомое,
теперь такое дежавю,
что будто, скручена осколою,
тугое яблочко жую:
вот мы, циничные и тихие,
пока у нас на кухне газ,
вполголоса читаем стихи
и сочиняем про запас.
Фарфоровое блюдо с трещиной,
бычки болгарских сигарет,
и, будто нам одним завещанный,
в окне клубящийся рассвет...
Диссидушки мои зазорные
на погибушках у страны —
разбросанные, закордонные,
сайгоновые тени, сны.

.....

Приёмник сиплый пыльным символом
насторожился, безголос,
и что бы с нами завтра ни было,
уже, похоже, началось.

33-Й ТРАМВАЙ

Забывай, забывай, ностальгию возьми в укорот:
Тридцать третий трамвай отправлялся от Нарвских ворот —
шёл по Газа к Обводному. Я выхожу за мостом.
Закопчённые стены, кирпичный обшарпанный дом.
Там, в убогом подвале, был маленький клуб ДОСААФ,
где мы преподавали собачникам клубный устав.
Особняк через улицу — чинный советский райком.
Мы обедать в столовую к ним пробирались тайком:
три копейки салат, канапе с разноцветной икрой,
комсомольские бонзы — под семьдесят каждый второй.
Возвращались в подвал, в свой угрюмый прокуренный грот.
В клубе числилось ровно пятнадцать служебных пород.
Всюду стенды с портретами лучших собак и вождей,
не работал сортир, и крысиные норы везде —
под столами, у сейфа... А в нём — небольшой арсенал:
из спортивных «пневмашек» по крысам палил персонал.
Генералы блошинных подвалов, собачьи чины,
под портвейн мы стреляли по стендам с вождями страны.
Веселились наутро, дивились, что нам не слабо,
вынимая корявые пульки из ленинских лбов.
Ох, и пили! С размахом, и пофиг нам был дефицит, —
забывалось, что он безраздельно и нагло царит,
что сидит он у всех поголовно в печёнках, в крови, —
нам тогда с перехлёстом хватало счастливой любви,
и на вечное «негде» тем паче плевали стократ —
прямо в клубе собачьем, на стол постелив дресссхалат.
Выходили в осеннюю сырость, чисты и легки,
и вдали, приближаясь, светились во мгле огоньки:
два — зелёный и красный. Ура, тридцать третий трамвай!..

.....

Ностальгия, молчи. Забывай-забывай-забывай,
забывай, не смотри, как в распахнутых створах ворот,
прибывая, угрюмо гудит разномастный народ:
все пятнадцать пород одичалых советских бомжей.
Только рельсы разобраны. Некуда ехать уже.

* * *

Куда податься? догорели избы
и рукописей жухлые листы.
Неистребимый призрак шовинизма
разводит заржавелые мосты.

Всё думали, что пишем, что камлаем.
Бог отвернулся, он от нас устал.
Неистовый скакун под Николаем
литым копытом топчет пьедестал.

Вдыхает запад терпкий дух массандры,
и бродит кровь, что виноградный сок.
Но фыркает битюг под Александром,
и облако уходит на восток.

Вползает морок в колыбель коллизий.
Наш бедный всадник не убил змеи.
Опять брести канавкой бледной Лизе
и вглядываться в бездну полыньи.

Смотри — сквозь тектонические плиты,
сочась, бурлит болотная вода.
Мы поневоле все космополиты.
Теперь — куда?



УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ЭЛЕГИЯ

тихо в городе пустом
ходит кошка под мостом
на скамейке спит бродяга
под газетным под листом

на газете патриарх
президент и олигарх
оловянные солдаты
в упаковочных гробах

поезд бомба террорист
дальше смят газетный лист
на спокойный лик бродяги
свет стекает, серебрист.

СУМЕРКИ

Раздет король, и пастор наг,
и всё кругом прогнило.
Роняет слёзы Пастернак
в застывшие чернила,
гудит гортанная метель
на бывших стройках БАМа,
идут в крахмальную постель
и Меркель, и Обама.
Лишь месяц щурится, серпаст,
звнящей мглой объятый, —
лукавый, как раскосый глаз
пришельца-азиата.

ЖАР

(цикл)

1.

Ты вспомни — ведь всё не зря: какое-то ноября,
и в ратушном витраже кроваво горит заря,
и рвётся в лохмотья мгла, и вспыхивает игла,
что жертвенного жука проткнула и вознесла.
Распоротый скарабей гудит в небеса: «добей...»
Молчит энтомолог, глух к нелепой его судьбе.

Когда бы иметь в виду, что всем нам гореть в аду
за жадную волю жить и прочую ерунду,
за наш насекомый быт, за мелкую тлю обид,
за то, что от наших бед у бога в глазах рябит.
И помнить бы свой шесток, и то, что господь жесток...
Под линзой дымится луч, нацеленный на восток.

2.

Которую ночь я закрываю глаза и вижу:
города стоят по пояс в багровой жиже —

взрывоопасной, удушливой и горючей,
землю трясёт, как юродивую в падучей.

Как спички, хрустят на храмах кресты и шпили...
Господи, мы ведь так хотели, чтоб нас любили!

Вспомни о нас, обратись к забытым тобой низинам,
вразуми безумных детей, что тушат огонь бензином,

посмотри в эти мелкие, закопченные, злые лица,
сделай так, чтобы этот кошмар перестал нам сниться,

сделай так, чтобы дымное небо от гари разволокло б,
положи прохладную руку земле на бугристый лоб!..

Ничего, переживается, — говорит. Терпи, — говорит.
Молча ворочаясь, терпит земля.
И горит,
горит...

3.

Спите, спите. Нет ни эллина, ни иудея.
Ветер доносит сладкий запах с Днепра и Дона.
Далеко на востоке цветёт дикая архиидея,
распуская жаркие оранжевые бутоны.
Хищные лепестки её пахнут горелым мясом.
Это чужие сны, баю-бай, отвернись к стене.
Это просто плавится горячая биомасса,
пляшут бесы в красиво колышущемся огне.
Спите, спите. Нет ни эллина, ни иудея.
Дикое поле. Ни москаля, ни хохла.
Далеко на востоке цветет дикая архиидея.
Оранжевые бутоны. Ветер. Огонь. Зола.



МЕТАМОРФОЗЫ

Уткнулась в небо бледно-жёлтое
кладбищенская колоколенка,
и на кресте её источенном
ворона хриплая сидит.

Когда бы ты спросил: как жил-то я?
Сказали б: мало, братец Коленька,
а все грехи твои... Короче, нам
не получается судить.

И эта ранняя оскомина,
и осень эта недозрелая,
и мы — испуганные зяблики
в лучах шафрановой зари, —

всё важным сделалось, особенным,
как будто сверху посмотрела я.
Жизнь хрустнула неспелым яблоком
и разломилась изнутри.

...Мы были добрые и юные.
А нынче я живу на острове.
Земля чернеет рукопашнями,
где сеют семечки гробов.

И воеет лгавда гамаюнная,
привычная уже, не острая,
о том, что из посева страшного
взойдет глухая нелюбовь.

ОСЕНЬ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Кончилось лето с щедрой его халявой,
в небе кардиограммы прощальных стай.
Скоро мороз прихватит рукой костлявой
эти скупые болотистые места.

Жухлый листок сосновой иглой приколот
к бледной поганке — так, видимо, им и гнить.
Время бесснежья сулит гололёд и голод,
в стылой земле угасает грибницы нить.

В дёснах аллея пунктиры скамеек белых —
редких, как зубы, изъеденные цингой.
Дама в лиловом кормит линиялых белок
воспоминаний слипшиеся нугой.

Тихо мерцает прошлое в крошках мелких
сладких страданий, счастья и табака...
Жизнь на ладони подносит пугливой белке
в старческой гречке худенькая рука.

Но грызунов не насытить духовной пищей,
мелкой зверушке сущность не превозмочь:
белка с повадкой обиженной злобной нищей
остро кусает руку и скачет прочь.

ЗОНА ОХВАТА

*Посвящается любезному моему другу Арсению Кипнису,
прошедшему славный путь от православного попа
до охранника в американской тюрьме для пожизненно
заключенных*

Было дело, любил ты синиц да чижих,
крошки света клевал из кормушек чужих,
и не ведал, как жизнь скуповата
на прохладном румянце заката.

А она ведь, мерзавка, не просто скупа —
закрутила, поставила всё на-попа:
от креста довела до острога
сторожить ускользнувшего бога.

Оказалось, раскатывать вширь — не резон,
и каких бы ты в жизни ни видывал зон,
одинакова зона охвата,
и чего тут искать виноватых.

Сколько раз это было в навязчивом сне:
ты идёшь и идёшь по толстенной стене,
по белёной стене монастырской —
балтиморской, китайской, бутырской.

А залётные стайки — синиц ли, чижих, —
В небесах — непонятно, — своих ли, чужих, —
всё щебечут, щебечут, чертовки,
и садятся на дуло винтовки.

НЕВСКАЯ ГУБА

Ты, наверно, и не вспомнил сам бы,
как в Кронштадт мы ездили с тобой,
где Нева, очерив дёсны дамбы,
шлёпала обветренной губой.

Там «БелАЗ» угрюмым великаном
сумерки ворочал, рокоча.
Эта жизнь казалась велика нам —
как с чужого снятая плеча.

Поодаль, теряясь в снежной крупке,
тарахтел заржавленный баркас;
реял снег, рассеянный и хрупкий,
бесприютных осеняя нас...

Нам безбожно врут, что время лечит.
В неозвратно дальней тишине
лишний засыпает человек,
в не свою укутавшись шинель.

Что теперь мести снега подолом?
Лишь во сне, как в собственном гробу,
плыть туда — доверчивым и голым, —
где Нева до Угольного мола
раскатала влажную губу.

РАЗЛОМ

Прилепился, как жвачка к чужому столу,
безнадёжно зажёванный жизни сюжет.
Ты боишься смотреть в эту жуткую мглу,
где скрипят жерновами «ещё» и «уже».

Он пугает тебя, этот чёрный разлом,
этот скрежет ночной тектонических плит...
Спи, уткнувшись в ладони, за липким столом,
что вином, точно кровью венозной, залит.

Спит в мешочке усохшего сердца червяк.
Он один тут, пожалуй, взаправду живой.
Хлопья пепла взмывает нездешний сквозняк
и вихрится над бедной твоей головой.



ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

На виске вспотела родинка,
жарко, жарко, спать пора.
Спи, хороший мальчик Роденька,
не касайся топора.
Сон горячечный откатится
по Столярному к Сенной:
видишь — Соня в чистом платице,
вся пронизана весной,
завернула на Садовую,
солнце брызнуло в лицо,
и блестит на пальце новое
обручальное кольцо.
Попусти ты им, сквалыжникам,
что томятся да дрожат,
тут под каждым под булыжником
деньги липкие лежат.
Сотворить дурное есть кому,
крутят бесы шар земной.
Не спустить бы Достоевскому
тысяч десять в казино,
после корчей эпилепсии
не скрипеть в ночи пером —
ан, тебе на чёрной лестнице
не стоять бы с топором...

...Дождь накрапывает вроде как,
воздух чище и свежей.
Спи спокойно, мальчик Роденька,
всё исполнено уже.

* * *

Ночью выпадет снег. Неуверенный, мягкий, творожный,
станет тихо светиться, заполнив квадраты дворов.
Постояв на пороге, с утра пешеход осторожный
аккуратно следами прошьёт этот свежий покров.

И потянутся строчки — прямые, кривые, косые, —
огибая забор, что чернеет года и года,
за которым дорога (о, слава дорогам России),
вся в ухабах и ямах, ведёт неизвестно куда.

Вечер всё обнажит, перемесит в унылые хляби,
превратит чудеса в решето некрасивых прорех...
Я хочу волшебства. На чуть-чуть, до рассвета хотя бы.
Скоро выпадет снег. Обязательно выпадет снег.



ДВОРНЯЖЬЕ ВРЕМЯ

(цикл)

Памяти К. К.

1.

Какая нынче снежная зима,
какие нереальные морозы.
Таится ощущением угрозы
сползающая с крыши бахрома.
Она уже висит над головой,
покуда он, ещё вполне счастливый,
насвистывая лёгкие мотивы,
спешит домой:
там женщина, уют, горячий суп,
гирлянды свет в ненастоящей хвое —
всё то, что называется покоем
в его домашнем сказочном лесу.
Ему этаж четвертый нипочём:
пролёт, ещё пролёт — скорей, скорее!
Он торопливо тычет в дверь ключом,
а там, за нею,
клубится снег в проёме синевы,
и ужас нарастающего свиста,
а он, с неразумением оптимиста,
шагает в...

2.

Что ж, от любви неукротимой
до трезвости неотвратимой лишь полшага.
В остатке плюсового стресса
два-три стиха, сюжет для пьесы — вся недолга.
А вот долги мужьям и жёнам...
Покуда было хорошо нам, кредит исяк,
и, чтоб отдать по номиналу,
как ни крути, всё будет мало — и так, и сяк.
Ты скажешь: мол, люби, общайся,
чего ещё тебе для счастья — и так всё ОК?
Не ОК. И не держи обиды.
я просто тварь другого вида.
Прости, дружок.

3. Брошенка

Уходят, уходят — и тот,
и этот... И пусть их:
пустила козла в огород —
не плачь по капусте.
Такие теперь времена —
скупые, дворняжки, —
покуда кукуешь одна,
с кем только не ляжешь.
Что толку в комарьей борьбе,
в скулёже и плаче?
Весна расцветает в тебе
листвою цыплячьей!
Трещат распашонки квартир,
и пояс всё туже:
круглеет и ширится мир
внутри и снаружи.
Не это ли дань от щедрот
блаженным и сирым —
светящийся лунный живот
над сумрачным миром?

КРЫМСКОЕ

Еле помню тебя — чудака, гордеца, иноверца,
обломавшего копья у стен моего равелина.
Но как сладко гудит ностальгия в зазубринах сердца,
наполняя вишнёвые соты печалью пчелиной.

Стрекотали часы под щекой — наш кузнечик несчастья.
Ты сорвал их тогда и ударил о крымские камни,
и с перрона отчаянно долго махала рука мне —
с беззащитно белевшей полоской на смуглом запястье.

Что камням до людской суеты? Время треснуло, встало.
В киммерийском разломе печалится гул ностальгии.
И по лунной дорожке, оставив ничейные скалы,
в ту же самую воду любовники входят нагие.



ЦЕМЕССКАЯ БУХТА

Август, южный звездопад, тьма счастливого народу.
Ночью, в тихую погоду, пароход ушёл под воду
двадцать девять лет назад.
Двадцать девять лет на дне как ложится вам, ребята?
Водной теменью объаты, не отвечают оне.
Мягко ли вам донный ил — Вадик, Леночка, Сережа?
Сколько ж вас там было, боже. Кто-то вас давно забыл,
да и тех, кто вас любил, с каждым годом меньше тоже:
Костик, Риточка, Борис, вот ещё летит — встречайте! —
чья-то мама, хриплой чайкой по волне ныряя вниз.
Двадцать девять лет — не сто. Я тебя покуда помню —
всё воздушней, всё бескровней... А потом — уже никто.



* * *

Он просто уехал. Куда? Например, в Тенерифе — служить там смотрителем рифм и коралловых рифов, замешивать пышную жизнь из воздушного теста, на солнечном масле поджаривать лёгкие тексты и эдаким ласковым чёртиком, чёрным, как сажа, лукаво русалок и нимф завлекать для массажа, чтоб, лёжа на пляже, потягивать терпкие вина и гладить лениво солёные тёплые спины.

Но медное солнце с шипеньем опустится в воду, вздыхающий ветер зашепчет печаль и свободу, заплещут вокруг большеротые грустные звёзды. И вот он уже обратился в мерцающий воздух, и вот он уже светлячковой колышется сеткой во мгле среднерусской — над старой заросшей беседкой, над брошенным домом в кустах белопенной сирени, где тихо скулит домовёнок, уткнувшись в колени. Над краем села, над сырым соловьиным погостом. Нет-нет, он уехал. Он просто уехал. Он просто...

* * *

На закате горят небеса, огневые,
что твои эмпиреи.
Оплывают, как свечи, советские львы,
несмирненно старея.

Голубая кайма студенистой тоски
на расколоте блюде,
но ещё в головах шебуршат прусаки,
и тоскуют, как люди.

Пусть с годами все женщины стали вокруг
поголовно лолиты,
выбирается та, что красна на миру
для богемной элиты,

выбирается та, что даётся за так,
невзирая на цену...
И вздымает кирпичные своды кабак,
раздвигаются стены —

от штрафной докружиться бы до стременной
в дымном гуле Борея,
где отчаянно можно тряхнуть стариной,
ни черта не старея,

и пока за спиной ухмыляются те,
кто отпраздновал двадцать,
стой, гусарский стакан, на дрожащем локте
и не смей расплескаться!

О СКОРБНОМ

Прочитала статью, как друзья «...по тебе скорбели» —
с придыханием, с пафосом — будто не вместе пили
вперемешку с портвейном коньяк и тягучий бейлис
из стаканов и чашек, где плавал осадок пыли,

и пелёнки, как флаги, белели на кухне тесной,
табаком пропитавшись и плачем жены и сына...
Может, это и к лучшему — не признаваться честно,
что великий пиит был изряднейшая скотина.

Пусть сначала уйдут и вдова, и сыны, и внуки,
узелки своей боли развяжут в суде господнем.
Вот тогда и пускай людовед, потирая руки
и очки поправляя, займётся твоим исподним.



ОСЕННИЕ ПОЭТЫ

Наступила осень, небо запотело.
Всё склубилось в стаи, что не улетело:

Листики, что пали в приступе падучей,
недоспавший дворник собирает в кучи.
Хмурые собаки по помойкам рыщут,
в коллективной форме добывая пищу.
С ворохом нетленок, сложенных за лето,
жмутся по тусовкам грустные поэты.

Дворники сжигают жухлых листьев горки,
тянется по скверам дым прозрачно-горький.
Вороша ногами прелых листьев кучи,
держат живодёры наготове крючья:
санитарный доктор надавал заданий
всех собак избавить оптом от страданий.

Только на поэтов нету разнарядки —
чтоб свалили в кучку пухлые тетрадки,
чтоб костер до неба, а самих — к отстрелу:
всё отправить в топку, что не улетело.
То-то будет радость, то-то станет чище!..

Не бойсь, поэты, — вас никто не ищет.

* * *

Муза плачет: «ты — мой гений!
(вася-гриша-фрол-евгений —
в этот плач любое имя
подставляется легко).
Я, священная корова,
для тебя на всё готова:
вот мой нимб, а вот и вымя,
в коем мёд и молоко!»

Гений молвит строго: «муза!
отпусти мои рейтузы,
я тебя на жизни праздник
нипочём не позову,
ибо в нашем жестком мире
всё устроено, как в тире:
ты — мишень, а я — проказник,
что спускает тетиву...»



ПРОЛЮБОВЬ

(цикл)

1.

В условиях тотальной нелюбви,
кто б ни был твой случайный визави, —
так вожделеешь ласкового слова...
А глянешь — он уже сидит спиной,
загрибок розовеется свиной
и пахнет общепитовской столовой.

Кто б ни был он — спортсмен ли, бизнесмен, —
его заботы вздёрни на безмен —
оттянется пружина до предела;
а глупости про нежность, долг и честь
(он, в общем, слышал, что такое есть) —
так, грамм на сто. А ты чего хотела?

Любви? Тогда дерябни те же сто,
надень бандану, черное пальто,
навешай фенек — и айда в богему,
где пестрота и нищий неуют,
зато какие соловьи поют
на вечную лирическую тему!

Ну да, и пьют. Не в вену же ширять.
А как ещё сознание расширять,
когда верлибр и прочий кризис жанра?
Смотри, вон тот, с нервическим лицом,
вполне brutальный выглядит самцом,
его почти не портят алкожабры.

Он привлечёт тебя за томный стан,
шепнёт в висок: «моею музой стань!»,
завалит на расхлябанную койку...
А ты, наутро оглядев плацдарм,
поёжишься, нальёшь ему «Агдам»
и понесёшь бутылки на помойку.

А как же, детка? Муза — это труд,
их унижают, им всё время врут,
бывает — бьют (для катарсиса чаще).
Вот ты ревёшь с примочкой на губе,
а он сидит и пишет о тебе,
и о Любви — большой и настоящей.

2.

В условиях тотальной нелюбви,
кем ни была бы ваша визави, —
вам хочется тепла, страстей и секса.
Не так уж чтобы пахла пирогом
(поскольку ты мечтаешь о другом),
но чтоб пирог и прочие рефлексy.

А женщина сидит напротив вас,
и кажется, шепнёшь случайно «фас!» —
и вцепится (нет, не в лицо — в бумажник).
Ей нужен фитнес, гуччи, тюильри...
Она как лёд снаружи и внутри,
а что внутри тебя — сие неважно.

Ах, надо, чтобы важно? Что ж, беги —
коль ты в Москве — на улицу ОГИ,
а в Питере — в «Бродячую собаку»:
там инженерки потаённых дум
в обличье экзотических акум
выплёскивают страсти на бумагу.

Смотри, вон та, с глазищами сайги,
пусть не умеет стряпать пироги,
но пишет эротические танка.
Она их, как оладушки, печёт,
в ней явно кровь горячая течёт —
типичная латентная вакханка.

Ну да, и пьёт. Зато она бокал
так сексуально гладит по бокам,

и грудь ея пылает, как Сахара...
Хотел страстей? Так получай страстей:
в твоём доме полно бухих гостей,
дым конопли и запах перегара.

И днём нельзя, и вечером нельзя:
То ПМС, то «щас войдут друзья»,
зависшие со вторника на кухне.
И ты опять бежишь для них в ларёк,
а в сердце назревает рагнарёк,
и мозг сейчас от ярости распухнет:

убить их, расчленить, спустить в подвал!
Чёрт, в раковину кто-то наблевал,
опять, наверно, фундаменталисты...
Пока ты шаришь в фановой трубе,
она сидит и пишет о тебе,
и о Любви — восторженной и чистой.

* * *

...тишинуша, гамимеря, между ними — пастернак.

Дмитрий Легеза

плохо спится жертве гастроэнтерита
смотрят с этажерки мастер маргарита
пыльный профильканта гоголькафкалотман
все мы тут мутанты в городе болотном
ушлый тишинуша грозный гамимеря
кашицей желтушной мутный день отмерян
суп из пастернака постная диета
так химера всяко доживет до лета
белой ночью монстру то-то изобилье
как раздует ноздри растопырит крылья
чуя запах плоти завернёт глиссаду
просвистит в полёте к летнему де саду
где под сенью древа как под тенью храма
дремлет достоева не доев агдама

СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА

Я была государыня рыбка,
тихой заводью правила всласть.
Пусть у вас вызывает улыбку
эта малоглубинная власть,
но в денёк, что задался хреново,
я утратила жидкую твердь —
я попала на крюк рыболова,
что влекло бы нелепую смерть,
если б я не была властелином,
чудодеем волшебной воды.
Я ждала, как всегда: «посули нам
чудесатых мечтаний плоды»,
и сказала б: «исполню мгновенно,
лишь свободу опять обрету»,
но случилась измена! Измена!
Я уже воплотила мечту!
И не ум, не способности феи
привлекали мерзавца, увы:
я нужна была в виде трофея —
вес, размеры, объем головы.
Я расплакалась, как идиотка, —
что за глупый исход бытия!
Так отправилась на сковородку
золотистая тушка моя,
и сгорели на масле на постном
чудеса, не застрявши в зубах...
А рыбак был мордастым и косным,
да ещё и готовил не ах.

МАЛЕНЬКИЕ МУКИ

сказки про жизнь мы сочиняем сами
в детстве мне подарили тапки с загнутыми носами
расшитые золотом как у эмира или халифа
в доме пахло красками хлебом теплом олифой
столбики пыли вились в солнечном волокне
вспыхивали оранжевые настурции на окне
тополиные волны вздымались и опадали
шумно дышали и обещали такие дали
что домашние дети распахивали окошки детских
и вылетали на волю в тапках своих турецких
видите вон я аки посуху бегущая по волнам
как маленький мук потеряна счастлива и вольна
не кричите мне «стой» не щурьтесь не делайте ваши ставки
на каком вираже упадут с этих смуглых ножек чудные тапки
над какой марианской впадиной над каким болотом
я сама придумала эту сказку я знаю что там



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это Рига. И всё это — площадь, вокзал и джаз,
пожилая латышка — голуби на плечах, —
никуда не делось. Вот и на этот раз
мелкий дождик слезится в белесых её очах,
размокают хлебные крошки на мостовой,
в жестяных желобах бесконечно бубнит вода,
саксофон басовито вызывает, как вестовой,
оживляя моё заблудившееся «тогда».

Ничего не уходит. Ничто, никогда, никто.
Эта девочка — ленты, бумажный цветной веноч, —
что идёт, держась за бабушкино пальто,
повторение «я» — савояр и его сурок.
Оступаясь неловко, красные башмачки
по булыжникам улиц постукивая, скользят...

Эта жизнь, этот город мне больше не велики.
Чутких стрельчатых окон янтарно-кошачий взгляд
мне меня возвращает, запомнив тогда такой.

Влажно блещут ладони площади.
Вся в заре,
пожилая латышка взмахивает рукой,
шумно хлопают крылья взлетающих сизарей.

МИНДАЛЬНОЕ ГОРЬКОЕ

Как снежная пушка бесшумным зарядом,
набухла пушистая мгла,
и терпкая горечь по всем, кто не рядом,
упруго за горло взяла.

В тоскливое время распухших миндалин
согрей себе чай с молоком.
Ты просто по-русски нелепо ментален,
не стоит грустить ни о ком.

Не видно луны, дело близится к ночи,
мы сами себе сателлит.
Осеннюю песню миндальный молочник
тихонько скулит и скулит.

Смотри, как с беспечною волей цыгана
слетает снежок на поля,
и ясно, за что эта жизнь дорога нам...
И свежесть в молочном тумане циана,
и сладость, и яд миндаля.



* * *

Тут солнечно и холодно. Зима.
Вот девочка с коленками худыми
протаивает лунку в белом дыме.
О, Господи, да это я сама
проваливаю в облачный сугроб
холодный лоб...

Дышу-дышу. Совсем осталась малость.
Сим-сим, откройся! Нету терпежу.
Ещё чуть-чуть — и лунка продышалась,
и я в неё так пристально гляжу.

А там, внизу, виднеется земля —
мохнатая, зелёная, большая.
И море. И скорлупка корабля.
А тут зима, сугробы распушая,
сверкает ослепительно окрест.
И я как перст.

Кому сказать — «я больше так не буду»,
кому кричать сиротское «ау,
пожалуйста, пусти меня отсюда
опять туда, домой, где я живу»?

Сама себе и птица, и гнездо,
сама себе ребёнок и родитель.
И медленно, как болеутолитель,
внутри меня, стихая, нота «до»
уходит в шорох зрелого зерна.
И — ти-ши-на.

* * *

Ветер порывисто пьёт из лужи,
пахнет апрель прошлогодней гнилью.
Всё уже было. И все мы были —
даже, допустим, намного хуже
нынешних — слабых, смешных и мудрых, —
дети с не детски печальным взором:
где синекурные наши утра,
солнце сквозь листья, теней узоры?
Жить бы и жить, не молясь, не каясь, —
сколько бы ни было — будет мало...
Тысячелетний портной-китаец
молча обводит своё лекало;
косточкой рыбьей заколет косу,
бархат штанов отряхнёт от пыли.
В невозмутимых глазах раскосых
всё уже было, и все мы были.
Просто теперь уходить нестрашно,
ибо, вчерне изучив основы,
все мы когда-то случимся снова —
лучше сегодняшних и вчерашних.



* * *

Не каждый вечен, не каждый мечен клеймом зари.
Искатель встречи, в разливах речи твой остров Крит.
И где он, выход, извивы нити да звон литавр?
Сопит, невидимый в лабиринте, твой Минотавр.
И белый — алым, и чёрный — алым на фоне скал:
заря полотна прополоскала, твой парус — ал.
Русалки пели, скользя вдоль рифов, кораллов рифм,
рифлёных мелей... О, труд сизифов — прилив, отлив.
Прощальным взмахом на мачте дрогнет мечты флажок —
ты был без страха и без упрёка, искатель строк.





Содержание

Келломяки

Дача Томарса	6
Ландыши	7
Мои янтари.	8
«Мы с бабушкой на даче ходили в магазин...»	9
Дачный сосед	10
Щель в заборе	11
Ливень	12
Болотный огонь	13
Непутёвый	14
Вечернее тепло	15
Несохранённый файл	16
Берег	17
Лето	18
«Здесь то горка, то озеро...»	19
Гетто писателей	20
Комаровский декаданс	21
Колокольная горка	22
В гамаке	23
«Расслабленная счастьем бытия...»	24
Комаровское	25
Приглашение к эпитафии	26
Сентябрьское дачное	27
На Щучьем озере	28
Осенняя элегия	29
«Налился тоскою прозаик...»	30
Гладиолус (цикл)	31
«Придерживая шарфик на ключицах...»	32
«Куда бы нынче ни брели вы...»	35
Вилла Рено	36

Герой сизифова труда

Сиреневый туман, кругом трава по пояс...»	38
Дежавю	39
33-й трамвай.	40
«Куда податься? догорели избы...»	41
Урбанистическая элегия	42
Сумерки	43
Жар (цикл)	44

Метаморфозы	46
Осень в Царском Селе	47
Зона охвата	48
Невская губа	49
Разлом	50
Петербургская колыбельная	51
«Ночью выпадет снег. Неуверенный, мягкий, творожный...» ..	52
Дворянжье время (цикл)	53
Крымское.	55
Цемесская бухта	56
«Он просто уехал. Куда? Например, в Тенерифе ...»	57
«На закате горят небеса, огневые,...»	58
О скорбном.	59
Осенние поэты.	60
«Муза плачет: «ты — мой гений...»	61
Пролубовь (цикл)	62
«плохо спится жертве гастроэнтерита...»	65
Старая, старая сказка.	66
Маленькие муки	67
Возвращение.	68
Миндальное горькое	69
«Тут солнечно и холодно. Зима...»	70
«Ветер порывисто пьёт из лужи...»	71
«Не каждый вечен, не каждый мечен клеймом зари...».	72



Литературно-художественное издание

Галина Александровна Илюхина

КОЛОКОЛЬНАЯ ГОРКА
Стихотворения

Редактор Валентина Кизило

Художник Алексей Воропанов

Макет Валерий Земских

Союз писателей Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 191119, ул. Звенигородская, д. 22

Подписано в печать 11.07.2016
Формат 48×86/₁₆. Печ. л. 4.75. Тираж 500 экз. Заказ № 1376

Отпечатано в типографии
ООО «Контраст»
192029, СПб., пр. Обуховской обороны, д. 38
тел/факс 8-(812)-677-31-19, e-mail oookontract@yandex.ru